

БЕЛОРУССКАЯ «РЕАЛЬНОСТЬ» В СИСТЕМЕ КООРДИНАТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ (постановка вопроса)

Владимир Фурс

«Метафизика» родного ландшафта

Отправным пунктом и побудительным мотивом морально-теоретических рефлексий о «белорусской аномалии», содержащихся в статье, послужил собственный опыт автора. Этот опыт, включающий три основных эпизода, свидетельствует о наличии в социальном ландшафте «Республика Беларусь» неких странных свойств, которые требуют рационального прояснения.

Эпизод первый. Во второй половине 1990-х гг. стало явственно ощутимым возвратное заболачивание университетской жизни (автор тогда работал в Белгосуниверситете). Реформаторский импульс рубежа 1980–90-х гг. угас, модернизация советской системы высшего образования не состоялась. На уровне рядового преподавателя обратная динамика ощущалась как бытовизация академической жизни, из которой исчезли экстраутилитарные ставки игры. Время пошло по кругу: один учебный год сменяется другим, но ничего «событийного» не происходит и уже не ожидается. Энтузиастические начинания утрачивают смысл, профессиональное саморазвитие затрудняется. И в 2000 г. автор совершил побег в докторантуру СПбГУ, показавший: со смещением в пространстве (выходом за границы родной земли) разительно изменились и свойства социального времени. Жизненные горизонты в Питере оказались раскрытыми: чувствуешь в себе силы – пожалуйста, рискуй, реализуй свои амбиции, результат покажет, были ли они оправданными. И уже замкнутость горизонтов на родной земле «остраивается» и вызывает вопрос: что это за явление, какова его природа?

Эпизод второй. По возвращении домой решение работать в Европейском гуманитарном университете было естественным. На этой площадке собрались люди, объединенные установками, с которыми автор был вполне солидарен: включение в мировую циркуляцию идей и интеграцию в европейское научно-образовательное пространство; единство передовых исследований и инновационного преподавания; индивидуализация работы со студентами и т. п. Политически мотивированное закрытие ЕГУ в Минске летом 2004 г. было событием прискорбным, но вполне объяснимым логикой прогрессирующего авторитаризма. Хотя университетская корпорация подчеркнута воздерживалась от политической оппо-

зиционности, само существование этого маленького университета свидетельствовало о возможности для Беларуси «иного будущего». Прибрав к рукам и тихо выхолостить проект ЕГУ не удалось, значит, его следовало уничтожить. С этим все ясно, удивило и заставило задуматься другое: разительный контраст между бурной реакцией европейской академической общественности и практически полным безмолвием белорусской. Почему же научно-образовательная элита общества не среагировала на грубое нарушение властью академических свобод, какие особые свойства белорусского ландшафта сгенерировали это холопство?

Эпизод третий. Благодаря сплоченности университетской корпорации и международной поддержке проект ЕГУ уничтожить не удалось, удалось лишь вытеснить его с родной земли в киберпространство. Новый опыт мобильности, связанный с работой «университета в изгнании», обострил восприятие «метафизических» свойств белорусского ландшафта, образующего замкнутый универсум социальной жизни. При оседлой жизни он натурализуется, так что может показаться, что это и есть вся реальность. И эта «кажимость» не сводима к пропагандистскому внушению и не является просто навязанной властью. Вообще говоря, неразумно демонизировать авторитарное государство: похоть всевластия стара как мир, но государство авторитарно ровно настолько, насколько ему позволяет общество. Проект авторитарного государства в Беларуси успешен, поскольку отвечает некоей объективной динамической перспективе социальной жизни, и именно это соответствие создает эффект белорусской «реальности». И воспринимая Беларусь как «черную дыру в центре Европы», важно попытаться заглянуть за «горизонт событий»: концептуализировать странную обратную динамику в родном социальном ландшафте.

Для начала нужно подобрать обозначение, помещающее «случай Беларуси» в более общий контекст и позволяющее рассматривать его в некоторой концептуальной системе координат. Напрашивается термин «переходное общество», очень быстро проясняющий ситуацию: дело в объективных трудностях перехода от командной экономики и политического тоталитаризма к рынку и демократии. Но это мнимая ясность: черно-белая транзитология научно сомнительна¹ и явно отягощена идеологическими аберрациями восприятия ввиду молчаливого допущения «конца Истории» в смысле окончательной победы либерализма во всемирном масштабе. Другой ходовой термин – «постсоветское общество» – недостаточно продуктивен, если под ним понимать лишь указание на недавнюю предысторию теперешнего состояния, и идеологичен, если подразумевается некоторое единство дальнейшей судьбы бывших частей СССР. Мы остановим свой выбор на выражении «трансформирующееся общество», хотя оно и выглядит чересчур абстрактным и даже тавтологичным: любое общество представляет собой в широком смысле трансформирующееся образование. Но мы используем этот термин в более узком и специфическом значении: как отсылку к контексту современных мировых трансформаций, без учета которого невозможно понимание динамики национально-государственных образований. Такое использование термина «трансформирующееся

общество», по нашему мнению, ориентирует на рассмотрение «белорусской аномалии» в контексте глобализации. Правда, следует признать, что подобное рассмотрение — дело довольно нелегкое: уже корректное определение глобализации как специфической системы координат требует обстоятельных разъяснений.

Глобализация в свете социальной теории

Тема глобализации с начала 1990-х гг. центрирует социально-научное мышление и публичный дискурс, сменив в качестве определяющей «диагностики времени» дискуссии о постмодерне 1980-х. Эмпирически глобализация представляет собой сложный комплекс процессов, различные «измерения» которого — коммуникационно-техническое, экологическое, экономическое, политическое, культурное² — оказываются предметом рассмотрения соответствующих дисциплин. Наряду с изображением подобных частичных «срезов» социально-научное освоение новых реалий предполагает также интегральный — социально-теоретический — подход, изучающий изменения социальной жизни, вызванные многомерной глобализацией. Этот подход опирается на понимание того, что социальные явления обретают научную осмысленность благодаря их восприятию в оптике определенных концептуальных схем и что столкновение с существенно новыми реалиями предполагает рефлексию над этими схемами и их более или менее радикальный пересмотр. Соответственно этому принимается, что глобализация означает глубокое преобразование всей социальной «материи» и поэтому требует переосмысления самого феномена социального. Такой подход, будучи весьма креативным, включает в себе и определенную опасность: при сохраняющейся моде на провозглашение всевозможных эпохальных «кризисов» и «поворотов» силен соблазн изображения глобализации в виде универсального однонаправленного процесса «коренной общественной трансформации» — изображения, смешивающего желаемое и действительность.

В 1990-е гг. социальная теория глобализации не избежала этой опасности. Как отмечает Дон Кальб, отмежевание некоторых ведущих авторов, в частности Ульриха Бека, от «глобализма» следует оспорить. Бек определял глобализм как неолиберальную идеологию господства мирового рынка, сводящую глобализацию лишь к одному измерению — экономическому, — которое к тому же мыслится линейно как неуклонное расширение зависимостей от мирового рынка³. И собственный анализ Бека, намечающий контуры становящегося «мирового общества», с необходимостью предполагает критику подобного неолиберализма *writ large*. Тем не менее, подчеркивает Кальб, социальная теория глобализации обладала внутренним сродством с глобализмом вследствие того, что дискурс глобализации — как публичный, так и социально-научный — в значительной степени имел форму метанарратива, утвердившегося спустя десятилетие после постмодернистского провозглашения заката «больших повествований». Социально-теоретическое мышление опиралось на своего рода «популярную мифологию глоба-

лизации». Завершение эпохи дуполярного мира, «сжатие» пространства новыми информационными и телекоммуникационными технологиями, глобальная координация финансовых рынков, растущее влияние ТНК и ослабление государственного регулирования, усиление миграций – все это породило широко распространенное ощущение того, что мы живем в новую эпоху, в которой превзойдена прежняя – территориальная – организация социальной жизни, и что отныне мы живем в глобально едином мире без границ, где существовавшие национальные и региональные разделения поступательно исчезают в пользу свободного обмена и сотрудничества во имя общего блага человечества⁴.

Ученое оформление метанарратива глобализации мы обнаруживаем в «неомодернистской» социальной теории, представленной, в частности, Энтони Гидденсом и Ульрихом Беком.

Глобализация здесь осмысливается как одно из наиболее значительных проявлений переживаемой нами коренной трансформации «современности» – перехода от «первого» («раннего») модерна к модерну «второму» («позднему», «высокому»). Гидденсом глобализация изображается как «глобализация модерна», основные институциональные и экзистенциальные характеристики которого перерастают рамки нации-государства. В сходной трактовке Бека, в эпоху «второго модерна» национально-государственная форма социальной жизни становится «сословной общностью», которая эволюционно превосходит «мировым обществом», образующимся поверх государственных границ.

Эйфория от глобализации как процесса, преодолевающего разобщенность человечества и открывающего небывалые возможности преодоления отсталости, обретения политической свободы и индивидуальной самореализации, оказалась недолгой. Кризисы в Азии и России конца 1990-х гг., реставрационные процессы в постсоциалистических странах, рост ксенофобии и усиление этнонациональных и религиозных конфликтов, «9/11» и подъем антизападных движений – все эти контрпроцессы представляются свидетельствами «границ глобализации». Однако более осмотрительной реакцией будет констатация кризиса глобализационного «метанарратива». Как отмечает Доминик Заксенмайер, сегодняшние охранительные традиционализмы обычно существуют в форме транснациональных сетей. В частности, многие радикальные исламистские движения сами глобально организованы; эти группы атакуют нации-государства и стремятся заменить секулярные общества новыми религиозными единицами поверх старых территориальных границ⁵. Поэтому для осмысления новых конфликтов следует не отказываться вообще от дискурса глобализации, а преодолевать тупиковую дилемму «глобализма и трайбализма».

Неомодернистская социальная теория вполне заслуживает упрека в «латентном глобализме», который был обусловлен, во-первых, некритическим заимствованием из публичного дискурса стихийной «мифологии глобализации» и, во-вторых, инерцией универсалистских схем современного социального мышления, внушившей трактовку глобализации как завершающей фазы эволюционного восхождения человечества от

локальных к национальным и затем ко всемирным формам организации социальной жизни.

Отсюда явствует, что осмотрительному социально-теоретическому мышлению следует воздерживаться от наивных упований на глобализацию и восприятия последней в виде очередного этапа всемирно-исторического прогресса: глобализация не только объединяет и открывает возможности, но также разобщает, иерархизирует и обрекает. Как же изобразить социально-теоретическими средствами эту многозначность? Для этого нужно, прежде всего, аналитически развернуть концепт глобализации, принимая во внимание как современную критику глобализационного метанарратива, так и наработки в социальной теории 1990-х гг., оппозиционной неомодернистскому «мэйнстриму».

В качестве отправного пункта подобного анализа разумно избрать «минимальное» определение глобализации как процесса интенсификации наднациональных социальных процессов и усиления глобальной взаимозависимости территориально организованных форм социальной жизни. «В принципе, — отмечает Кальб, — этот концепт лишь констатирует определенный географический факт: люди и места в мире становятся все более широкомасштабно и плотно связаны друг с другом...»⁶

Для социально-теоретического мышления эта эмпирическая констатация служит основанием для постановки фундаментальной задачи: надлежит концептуализировать новое — глобальное — измерение социальной жизни, а для этого необходимо преодолеть некоторые базовые теоретические представления, устоявшиеся в социологической традиции. Хотя в трудах классических социологов, отмечает Роланд Робертсон, и имелись существенные прозрения относительно глобальных тем, «официальная» роль социологии была связана с изучением социетальных (или сравнительно-социетальных) вопросов⁷. В качестве фундаментальной единицы анализа принималось «общество», трактуемое по образцу классической нации-государства. В этой связи применительно к социологической традиции правомерно говорить о «методологическом национализме» (Э. Д. Смит) или о «натурализации идеи нации» (К. Кэлхун). Общество понималось как функционально дифференцированное, социально/системно интегрированное и самовоспроизводящееся образование, во внутренней перспективе которого может быть достаточно полно описана и объяснена социальная жизнь.

Опыт глобализации ставит под вопрос именно эту «социологию социального как общества» (Д. Урри). Новый глобальный каркас, отмечают Майк Физерстоун и Скот Лэш, не может мыслиться как нация-государство всемирного масштаба, поэтому о «мировом обществе» можно говорить лишь фигурально.⁸

Глобальное измерение социальной жизни воплощено в транснациональной циркуляции капитала/потребительских благ, технологий, информации/идей и людей. Организующие рамки этих «детерриториализированных потоков» концептуализируются за рамками идеи «общества» как своеобразные глобальные «ландшафты» («скейпы» — *scapes*). Арджун Аппадураи выделяет пять таких ландшафтов: «этноскейпы» (ландшафт мигрирующих групп: беженцев, туристов, гастарбайтеров и

т. п.), «техноскейпы» (глобальная конфигурация технологий), «финансовые ландшафты» (диспозиция глобального капитала), «медиаскейпы» (характеризующие распределение как электронных средств производства и распространения информации, так и образов мира, создаваемых масс-медиа) и «идеоскейпы» (каскады политически значимых идей). Каждый из них задает определенные параметры для движения также и других потоков, но, тем не менее, взаимодействие пяти глобальных «скейпов» не образует согласованного единства: все меньше изоморфизма наблюдается в движениях людей, технологий, денег, образов и идей, поэтому характерной чертой современного состояния является прогрессирующее разъединение глобальных потоков.⁹

Вопреки внушению «мифологии глобализации», возрастание влияния глобального измерения не означает «детерриториализации» социальной жизни.¹⁰ Как отмечает Робертсон, одно из основных препятствий для корректного социально-теоретического осмысления глобализации заключается в инерции современной логики социального мышления. В социологической традиции термин «локальный» относился к небольшому ограниченному пространству, ассоциированному с комплексом тесных социальных отношений и стабильной культурной идентичностью. Интерпретация локальностей вписывалась в эволюционную оппозицию «общности» и «общества»: малых и относительно изолированных сообществ, основанных на первичных отношениях и эмоционально насыщенных связях, и анонимных и инструментальных вторичных ассоциаций современного типа. Предполагалось, что в процессе эволюции социальные практики поступательно открепляются от местных контекстов. В подобной теоретической оптике глобализация, действительно, выглядит как процесс, окончательно разлагающий локальные формы социальной жизни.

Во избавление от подобного искаженного восприятия Робертсон предлагает использовать в качестве опорного термин «глокализация», считая его свободным от дезориентирующих внушений расхожего слова «глобализация».¹¹ Его предпочтительность, полагает Робертсон, связана, во-первых, с тем, что если мы говорим о «процессе глобализации», то невольно акцентируем временной момент, и тогда глобализация «естественно» понимается нами как пространственно неспецифичная (и в принципе повсеместная) коренная общественная трансформация. И в неомодернистской социальной теории это «естественное» понимание лишь находит свое логическое завершение: глобализация изображается как следствие универсального «проекта модерна». Термин же «глокализация» ориентирует на восприятие мировых изменений в единстве пространственных и временных характеристик, на взаимосвязанное использование географического и исторического описания. Он стимулирует осознание того, что нет единой глобализации для всех стран и континентов. Во-вторых, использование нового термина позволяет преодолеть сведение глобализации к мировой гомогенизации, нивелирующей локальное своеобразие социальной жизни, и акцентирует игру глобального и локального.

Замечания Робертсона очень резонны, но все же главное в них относится не к замене одного термина другим, а к корректному изображению сути дела. Поэтому, на наш взгляд, можно и дальше использовать устоявшийся термин «глобализация», оговорив, что, правильно понятый, он означает не разложение, а формирование локальностей, их реорганизацию в глобальном контексте. И если расширить понятие «локальности» до «территориально организованных форм социальной жизни (разной протяженности)», то можно говорить о таком существенном аспекте глобализации, как «глобальная экономия социальных ландшафтов». Разъединенные глобальные потоки, взаимодействуя с институциональными структурами в тех или иных регионах и национальных обществах, по-разному преломляются в различных местных ситуациях. Глобализация генерирует проблемы и перспективы, проявляющиеся в локальных формах, но по своей природе и основному содержанию не являющиеся локальными.¹²

Тем самым глобализация означает глубокое преобразование политического. Известно, что расширение политического за пределы «сферы политики» в конвенциональном смысле (функциональной общественной подсистемы, образованной представительством интересов социальных макросубъектов – наций, классов – и служащей формированию «общественной воли») было констатировано еще до глобализации в связи с «новыми социальными движениями», политизацией культурных различий и стилей жизни, возникновением «субполитики» и др. Дальнейшее преобразование политического, которое несет с собой глобализация, означает прежде всего то, что в качестве элементарных «политических тел» выступают глобально реорганизованные социальные ландшафты. Как отмечает Кальб, любая разновидность локального развития сегодня может и должна пониматься как территориально специфичное присвоение глобальных процессов, которое или присоединяется к преобладающим глобальным конъюнктурам, или дистанцируется от них, или, наиболее часто, представляет собой сочетание того и другого с получением некоторой конфигурации преимуществ и слабостей.¹³

Следует подчеркнуть, что местные политические «ответы на глобализацию», во-первых, не сводятся к реакциям наций-государств, а включают в равной степени также политическую динамику ландшафтов суб- и наднационального уровня (сепаратизмы, регионализмы, самоопределение транснационально организованных диаспор и т.п.). Во-вторых, они не сводятся к деятельности политических элит, но подразумевают прежде всего спонтанное «изобретение» или «воображение» локальностей на низовом уровне.¹⁴ Используя популярный термин, можно, по-видимому, говорить о ландшафтных «политиках идентичности», однако при этом следует учитывать, что «работа представления» (как политического, так и когнитивного), осуществляемая активистами и интеллектуалами, опирается здесь на работу анонимного социального воображения, а эта последняя, в свою очередь, ре-активна относительно глобально сгенерированных местных проблем и перспектив. В результате при внимательном рассмотрении глобализация оказывается не процессом становления единого «мирового общества», а утверждением

«нового мирового беспорядка», производимого несогласованной динамикой и зачастую конфликтным взаимодействием множества разнородных и «разновесомых» политических тел¹⁵.

В социально-теоретическом плане это обстоятельство требует признания непрозрачной «сверхсложности» глобализации, подразумевающей невозможность построения универсальной теории «глобализующегося социального мира». Глобализация универсальна и может трактоваться как новая «эпоха» или «кондиция» лишь в смысле образования глобального измерения социальной жизни и возрастания его определяющего влияния на территориальные формы социальности. Но констатация этой новизны представляет собой лишь первый аналитический шаг. Вторым и решающим шагом является выделение социальных ландшафтов в качестве узловой точки «системы координат» глобализации. И этот шаг позволяет понять, что мы имеем дело по существу не с неким единым процессом, а, скорее, с полиморфным «множеством глобализаций»¹⁶.

Использование концепта «социальный ландшафт» в качестве узлового «спатиализирует» наше понимание социальной жизни, но речь идет не просто о включении географии в социальную теорию. Ведь ландшафт, который имеется в виду, представляет собой не объективную географическую данность, а динамическую структуру, образованную двуединством местного преломления глобальных потоков и местного освоения глобально сгенерированных проблем и перспектив. Соответственно этому, использование нашего концепта, во-первых, ориентирует на рассмотрение локальной социальной динамики прежде всего не в логике развертывания вовне внутренних тенденций развития, а в логике свертывания глобальных конъюнктур во внутреннюю структуру ландшафта. А во-вторых, акцентирует «главенство пространства над временем»: подсказывает, что именно глобальное позиционирование той или иной территориальной формы жизни побуждает людей к ретроактивному переопределению исторического прошлого и конструированию ландшафтного образа будущего. Местный выбор «собственного пути развития» с неизбежностью осуществляется в глобальной системе координат, даже если его содержанием становится «сопротивление («западной», «капиталистической», «светской» и т. п.) глобализации». Таким образом, если с одной стороны концепция социальных ландшафтов критически противостоит метанарративу «глобализации модерна», то с другой — консервативному эссенциализму «почвы».

Регрессивная социальность

Вернемся из стратосферных высот теории на грешную землю. Нам представляется резонным интерпретировать белорусский феномен закрытого социального универсума, опираясь на гипотезу о «регрессивной социальности» — глобально индуцированной «обратной» динамике. В самом первом приближении эту гипотезу можно сформулировать следующим образом: местный «ответ» на глобализацию ведет к внутренней трансформации модернизированного общества, которое пара-

доксальным образом приобретает черты традиционного и даже архаического. Происходит инволюционная де-дифференциация общества; простое воспроизводство социальной стабильности, возводимой к «мифическому прошлому» советских времен, утверждается в качестве абсолютной ценности; устанавливаются «этнографические» критерии благосостояния, справедливости, научной значимости; общим эффектом этих преобразований становится туземная инкапсуляция социального ландшафта. Очевидно, что эта первоначальная формулировка гипотезы еще не является удовлетворительной как в силу «огульности», так и ввиду использования клише модернистского мышления: регрессивная социальность представляется как возвращение к низшим, уже пройденным этапам универсального развития. Поэтому, для того чтобы придать гипотезе приемлемый вид, следует более точно определить смысл «регрессии» в системе координат глобализации.

Отправным пунктом при этом нам послужит регрессивное движение в социальной динамике «Я», которое мы постараемся раскрыть с отсылкой к аналитической психологии К. Г. Юнга: неспособность доминирующей сознательной установки личности адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам влечет за собой активизацию бессознательных содержаний и возвратное движение либидо к более раннему способу адаптации. У Юнга краткосрочная «регрессия» имеет позитивное значение психического обновления; в процессе развития личности она столь же необходима, как и «прогрессия», и может служить предпосылкой очередного продвижения вперед в адаптации к внешним условиям. В социально-теоретическом языке этот процесс регрессии может быть переосмыслен и определен как элемент динамической структуры «самости» (self) в контексте глобализации. Гидденс, справедливо отмечая, что глобализация несет с собой новое качество нестабильности «Я», делает отсюда одностороннее заключение: «самость» становится рефлексивным проектом, конструированием себя, выбором из множества опций собственного стиля жизни. Во избежание подобного упрощения, внушенного неомодернистским оптимизмом Гидденса, следует подчеркнуть остающееся у него в тени: сам момент травматического разрушения «защитного кокона» «Я», сформировавшегося в привычных формах жизни, утрату чувства «онтологической безопасности» в ситуациях «необсчитываемого риска», фрагментирующее воздействие рассогласованных глобальных потоков и т. п. Рефлексивное конструирование собственной идентичности имеет своей необходимой предпосылкой преодоление первичного шока посредством регрессии – аффективной идентификации с локальностью и/или сообществом, обеспечивающей «обретение себя заново» в глобальной системе координат. При таком понимании «регрессия» предстает важным моментом глобальной экономики социальных ландшафтов.

Регрессия сама по себе не является патогенным фактором, патогенна задержка в регрессии: неспособность «Я» из-за потери ориентации справиться с бременем возросшей автономии и перейти к «проекту себя» в глобальной системе координат. В случае Беларуси основной причиной массовой дезориентации очевидно послужил распад советс-

кого символического универсума, обернувшийся глубоким кризисом идентичности.

Задержанная «тяжелая» регрессия означает восстановление целостности личности путем «самоумаления» и, по нашему мнению, включает такие моменты, как: 1) идентификацию с официальными инстанциями и/или с харизматическим лидером, позволяющую перенести на них бремя ответственности за принятие решений в опасном «большом мире»; 2) самофункционализацию: дезориентированный индивид заново обретает себя как исполнитель позитивных социальных ролей, одобренных властями; 3) «заземление» индивидуальных жизненных проектов: перспектива осмысленной и счастливой жизни ассоциируется с проживанием в ближайшем социальном окружении с минимальной мобильностью; 4) принятие привычных форм повседневной жизни в качестве позитивного «своего» и вытеснение дестабилизирующих «сил глобализации» в негативное «чужое»; 5) аффективные инвестиции в государство, обеспечивающее прочность границ «своей земли».

«Самоумаление» означает не просто снижение уровня индивидуальных притязаний, а структурную патологию личности: восстановление нарушенного «защитного кокона» оплачивается самоограничением вменяемости. В структуре личности редуцируются универсалистские ожидания признания в качестве морального лица, личное достоинство сводится к официально признанной социальной ценности индивида.

Эта стихийная тенденция патогенной регрессии, являющаяся продуктом глобальной экономии родного ландшафта, усиливается и канализуется политическим проектом авторитарного государства, причем особое значение имеют не столько репрессивные, сколько символические стратегии, обеспечивающие согласие подчиненного населения. Репрессии сами опираются на это согласие и используются главным образом для корректировки сбоев символических стратегий, проводимых не только через подконтрольные государству масс-медиа, но и через весь спектр «идеологических аппаратов государства».

Первой («базисной») символической стратегией является расширенное воспроизводство патогенной регрессии. Стихийная «тяжелая» регрессия, пусть и охватывающая немалую часть населения, является лишь исходной точкой опоры авторитарного государства; для прочного самоутверждения оно нуждается в систематическом формировании человеческих субъектов, не просто послушных диктату, но желающих его для обретения себя. Первая символическая стратегия, в частности, включает: превознесение «простого человека», представляемого в виде основного носителя подлинных ценностей; утверждение безопасности в качестве главной проблемы частной и общественной жизни; редукцию публичности к государственным делам; утверждение госпатриотизма как основы социальной морали; гипертрофированное изображение роли «Главы Государства», лично движущего всю общественную машину; внушение идиллического образа лукашенковской Беларуси в оппозиции к пугающему образу окружающего моря хаоса (безудержного роста насилия, природных катастроф, тяжелых экономических проблем, публичных скандалов и т. п.).

Эта символическая стратегия целенаправленно производит патогенную регрессию личности, однотипную с той, что стихийно генерируется глобализацией: она «умалывает» человека, искусственно усиливает его страх столкновения с «большим миром» и тут же предлагает средство спасения — надежный «защитный кокон» патерналистского государства. Она блокирует переход индивида к самостоятельному воображению и обретению себя в «большом мире».

Вторая стратегия состоит в конструировании символического универсума, определяющего интерпретацию событий внутри страны и «за рубежом». Его основным содержанием является парадоксальное сочетание двух разнородных мифологий: «великого советского прошлого» и «безоговорочного национально-государственного суверенитета». Использование в данном контексте современной идеи территориального суверенитета государства мифологично, поскольку даже в классических нациях-государствах суверенитет над территорией опосредуется системой международных отношений и зависит от нее, а в «эпоху глобализации» еще и существенно ограничивается ростом влияния транснациональных процессов. «Примордиализм советскости», хотя и подпитывается ностальгией пожилых людей по «старым добрым временам», представляет собой не проявление стихийной жизнеспособности советского наследия, а целенаправленно сконструированную мифологию, позволяющую, в частности, символически изгнать глобализацию вовне: интерпретировать ее как новейшие «козни Запада», которым твердо противостоит суверенная Беларусь, унаследовавшая все лучшее от Советского Союза. Во внутреннем же употреблении «примордиализм советскости» дискредитирует спонтанные устремления к либерализации общественной жизни, интерпретируя их как действия «пятой колонны» глобальной гегемонии. Сакральным центром символического универсума, снимающим его внутренние противоречия, выступает «Первый Президент» — демиург «новейшей истории» Беларуси. Символический универсум, лейтмотивом которого является самодовлеющая замкнутость родного ландшафта, обеспечивает жертвам регрессии суррогатную ориентацию в мире.

Третьей стратегией является самолегитимация авторитарного государства путем производства «народа» как алиби. Эта стратегия задействует магию политического представительства, образцово проанализированную П. Бурдые: множества людей, занимающих сходные позиции в социальном пространстве, являются социальными субъектами (классами, нациями) лишь потенциально; реализуется ли эта возможность и в каком именно виде, зависит от появления политических активистов, утверждающих себя в качестве выразителей общих интересов того или иного множества. Таким образом, политическое представительство не вторично относительно предсуществующей группы, а конструктивно: выступая от имени группы, представитель сам производит ее в качестве социальной реальности (производит, разумеется, не беспредпосылочно). Группа как целое, несводимое к множеству людей, воплощена в фигуре представителя, который вдобавок к своим обычным человеческим качествам наделяется аурой экстраординарных

свойств. И действие «именем группы» открывает для представителя возможность легитимации собственного произвола.

Опираясь на электоральную поддержку значительной части населения, усиленную аппаратными инсценировками «народного волеизъявления» и политически грамотным подсчетом голосов, белорусское авторитарное государство заявляет себя как полноправного представителя народа-суверена, мистическое тело которого лепится, конечно же, по мерке «простого человека». Авторитарное «воображение народа» деполитизирует население: «умаленные» и «самоумалившиеся» люди узнают себя в предлагаемом образе и охотно перепоручают бремя политических забот государству; политический темперамент прочих дискредитируются как своекорыстное интригантство. В такой модели «народовластия» политическая жизнь страны стирается за ненадобностью.

Три обозначенные символические стратегии образуют единый рабочий комплекс, причем третья существенно подкрепляет первые две: благодаря ей неприятие государственного патернализма («спасибо, сам справлюсь») или реакция на содержание официального символического универсума: «что за чушь?!» — предстают нелегитимными: это реакции отщепенцев, противопоставляющих себя суверенной воле народа.

Заключение

Сейчас мы можем аналитически и диагностически уточнить гипотезу о «регрессивной социальности»: «обратная» динамика в родном ландшафте обусловлена сочетанием и взаимостимулированием стихийной регрессии личности, вызываемой шоком глобализации, и символических стратегий авторитарного государства. Эта динамика имеет патологический характер, поскольку означает усиление общественной гетерономии: такого положения дел, при котором установившаяся форма общества натурализуется, коллективная деятельность людей лишается формообразующего потенциала и поэтому структурно невозможна автономия — рефлексивное самоустановление общества.¹⁷

Концепция социальных ландшафтов в глобальной системе координат позволяет осуществить критическую денатурализацию белорусской «реальности»: замкнутый универсум социальной жизни представляет собой продукт инкапсуляции родного ландшафта, патологический территориально-государственный «ответ» на глобализацию, сам являющийся элементом глобализации.

Само собой разумеется, морально-теоретические рефлексии, содержащиеся в статье, претендуют лишь на первоначальную постановку вопроса и предполагают дальнейшую работу в двух основных направлениях. Во-первых, следует применить гипотезу о «регрессивной социальности» к рассмотрению фактуры: проанализировать стихийную регрессию личности и ее взаимодействие с работой «аппаратов», конкретную организацию официального символического универсума, потенциал изменения, заключенный в ироническом дистанцировании от вмененных «самостей», и т. п. Во-вторых, ясно, что «инкапсуляция» — никоим образом не окончательный приговор родному ландшафту, а

лишь одна из тенденций динамики, хотя и преобладающая в настоящее время. Поэтому важной задачей является идентификация подавленных позитивных альтернатив в белорусском опыте глобализации и определение контуров ландшафтного проекта общественной автономии. Эта работа еще предстоит, но уже концептуальный набросок, представленный в статье, позволяет сформулировать некоторые практически значимые истины. Критический образ изоляционистского диктаторского режима ошибочен, поскольку в нем игнорируется социальная субстанция самоизоляции. Фантасмагорический характер «реальности» замкнутого универсума вовсе не означает, что мы имеем дело с поверхностной видимостью — для очень значительной части населения она обладает материальной плотностью. И более чем наивно рассчитывать на то, что стоит отпирить «свободу и демократию» и «уйти» «последнего диктатора Европы», как Республика Беларусь прикметит к «цивилизованному миру». Для мышления, связывающего себя с проектом общественной автономии, важно избавиться от дезориентирующей зачарованности фигурой Лукашенко. Сам Лукашенко — лишь маленький человек с большой жадностью власти. А «Лукашенко» — это экран, на который проецируются жизненные страхи и надежды миллионов людей. И в тени шумного «Главы Государства» скрываются многотысячные безликие «аппараты», тихо выполняющие свою работу по нормализации человеческого материала. Так что ландшафтная самоизоляция и политический авторитаризм вполне могут воспроизводиться и без человека Лукашенко. Ландшафтный проект общественной автономии не может быть правильно определен на основе оппозиции «автократии», потому что оппозиционное мышление попадает в ловушку негативно-го культа личности: оно невольно подпитывает антропоморфное социальное означающее «Лукашенко» и тем самым укрепляет систему общественной гетеронимии, против которой пытается выступать.

Примечания

- ¹ См., напр.: Burawoy M., Verdery K. (eds.) *Uncertain Transition: Ethnographies of Change in the Postsocialist World*. Maryland, Oxford, 1999.
- ² Ср.: Beck U. *Was ist Globalisierung?* 6. Aufl. Frankfurt, 1999. S. 42.
- ³ Ibid. S. 196.
- ⁴ Kalb D. *Localizing Flows: Power, Paths, Institutions, and Networks* // Kalb D. et al. (eds.) *The Ends of Globalization. Bringing Society Back In*. Lanham, 2000. P. 4
- ⁵ Sachsenmaier D. *Multiple Modernities – The Concept and Its Potential* // Sachsenmaier D., Eisenstadt Sh., Riedel J. (eds.) *Reflections on Multiple Modernities*. Leiden, Boston, Koeln, 2002. P. 51–52.
- ⁶ Kalb D. *Localizing Flows*. P. 1.
- ⁷ Robertson R. *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London, 1992. P. 9.
- ⁸ Featherstone M., Lash S. *Globalization, Modernity and the Spatialization of Social Theory: An Introduction* // Featherstone M., Lash S., Robertson R. (eds.) *Global Modernities*. London, 1995. P. 2.
- ⁹ Appadurai A. *Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization*. Minneapolis; London, 1996. P. 33–36.
- ¹⁰ Яркое выражение подобного «мифологического» представления мы встречаем, в частности, у Малкольма Уотерса: благодаря глобализации территориальность перестает быть организующим принципом социальной и культурной жизни; глобали-

зующиеся социальные практики освобождаются от локальных привязок и свободно пересекают пространственные границы (Waters M. *Globalization*. London, New York, 1995. P. 3).

¹¹ См.: Robertson R. *Globalization or glocalization?* // Robertson R., White K.E. (eds.) *Globalization: Critical Concepts in Sociology*. Vol. III. Global Membership and Participation. London, New York, 2003.

¹² Ср.: Appadurai A. *Grassroots Globalization and the Research Imagination* // Appadurai (ed.) *Globalization*. Durham, London, 2001. P. 5–6.

¹³ Kalb D. *Localizing Flows*. P. 13.

¹⁴ Robertson R. *Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity* // Featherstone M., Lash S., Robertson R. (eds.) *Global Modernities*. London, 1995. P. 35.

¹⁵ Причем беспорядка, усугубляемого инерцией старого политического языка, опирающегося на реалии классических наций-государств. Например, как отмечает Аппадурай, многие сепаратистские проекты в значительной степени объясняются тем, что глобально генерируемый этнонационализм использует политический язык права наций на самоопределение.

¹⁶ Мы используем удачную формулировку из названия книги под редакцией П. Бергера и С. Хантингтона (*Many Globalizations*. Oxford, New York, 2002).

¹⁷ Достоинствами концепции Корнелиуса Касториадиса, инструментарий которой мы использовали при диагностике «регрессивной социальности», являются, во-первых, использование идеи автономии применительно к динамике «политических тел» и, во-вторых, ее «контекстуализация»: «автономия» — это не действие согласно всеобщему закону, открытому неизменным разумом, она представляет собой общественный проект, смысл которого по-разному определяется в конкретных исторических и географических обстоятельствах на основе постановки под вопрос установившейся формы общества. Такая трактовка, освобождающая идею автономии от привязки к универсальному «проекту модерна», позволяет использовать ее для определения перспективы положительной социальной динамики с учетом неустрашимой «множественности глобализаций».